

Двадцать шесть и одна

Автор:

Максим Горький

Двадцать шесть и одна

Максим Горький

«Нас было двадцать шесть человек – двадцать шесть живых машин, запертых в сыром подвале, где мы с утра до вечера месили тесто, делая крендели и сушки. Окна нашего подвала упирались в яму, вырытую пред ними и выложенную кирпичом, зеленым от сырости; рамы были заграждены снаружи частой железной сеткой, и свет солнца не мог пробиться к нам сквозь стекла, покрытые мучной пылью. Наш хозяин забил окна железом для того, чтоб мы не могли дать кусок его хлеба нищим и тем из наших товарищей, которые, живя без работы, голодали, – наш хозяин называл нас жуликами и давал нам на обед вместо мяса – тухлую требушину...».

Максим Горький

Двадцать шесть и одна

Поэма

Нас было двадцать шесть человек – двадцать шесть живых машин, запертых в сыром подвале, где мы с утра до вечера месили тесто, делая крендели и сушки. Окна нашего подвала упирались в яму, вырытую пред ними и выложенную кирпичом, зеленым от сырости; рамы были заграждены снаружи частой железной сеткой, и свет солнца не мог пробиться к нам сквозь стекла, покрытые мучной пылью. Наш хозяин забил окна железом для того, чтоб мы не могли дать кусок его хлеба нищим и тем из наших товарищей, которые, живя без работы, голодали, – наш хозяин называл нас жуликами и давал нам на обед вместо мяса

– тухлую требушину...

Нам было душно и тесно жить в каменной коробке под низким и тяжелым потолком, покрытым копотью и паутиной. Нам было тяжело и тошно в толстых стенах, разрисованных пятнами грязи и плесени... Мы вставали в пять часов утра, не успев выспаться, и – тупые, равнодушные – в шесть уже садились за стол делать крендели из теста, приготовленного для нас товарищами в то время, когда мы еще спали. И целый день с утра до десяти часов вечера одни из нас сидели за столом, рассучивая руками упругое тесто и покачиваясь, чтоб не одеревенеть, а другие в это время месили муку с водой. И целый день задумчиво и грустно мурлыкала кипящая вода в котле, где крендели варились, лопата пекаря зло и быстро шаркала о под печи, сбрасывая скользкие вареные куски теста на горячий кирпич. С утра до вечера в одной стороне печи горели дрова и красный отблеск пламени трепетал на стене мастерской, как будто безмолвно смеялся над нами. Огромная печь была похожа на уродливую голову сказочного чудовища, – она как бы высунулась из-под пола, открыла широкую пасть, полную яркого огня, дышала на нас жаром и смотрела на бесконечную работу нашу двумя черными впадинами отдушин над челом. Эти две глубокие впадины были как глаза – безжалостные и бесстрастные очи чудовища: они смотрели всегда одинаково темным взглядом, как будто устав смотреть на рабов, и, не ожидая от них ничего человеческого, презирали их холодным презрением мудрости.

Изо дня в день в мучной пыли, в грязи, натасканной нашими ногами со двора, в густой пахучей духоте мы рассучивали тесто и делали крендели, смачивая их нашим потом, и мы ненавидели нашу работу острой ненавистью, мы никогда не ели того, что выходило из-под наших рук, предпочитая кренделям черный хлеб. Сидя за длинным столом друг против друга, – девять против девяти, – мы в продолжение длинных часов механически двигали руками и пальцами и так привыкли к своей работе, что никогда уже и не следили за движениями своими. И мы до того присмотрелись друг к другу, что каждый из нас знал все морщины на лицах товарищей. Нам не о чем было говорить, мы к этому привыкли и всё время молчали, если не ругались, – ибо всегда есть за что обругать человека, а особенно товарища. Но и ругались мы редко – в чем может быть виновен человек, если он полумертв, если он – как истукан, если все чувства его подавлены тяжестью труда? Но молчание страшно и мучительно лишь для тех, которые все уже сказали и нечего им больше говорить; для людей же, которые не начинали своих речей, – для них молчанье просто и легко... Иногда мы пели, и песня наша начиналась так: среди работы вдруг кто-нибудь вздыхал тяжелым вздохом усталой лошади и запевал тихонько одну из тех протяжных песен, жалобно-ласковый мотив которых всегда облегчает тяжесть на душе поющего.

Поет один из нас, а мы сначала молча слушаем его одинокую песню, и она гаснет и глохнет под тяжелым потолком подвала, как маленький огонь костра в степи сырой осенней ночью, когда серое небо висит над землей, как свинцовая крыша. Потом к певцу пристает другой, и – вот уже два голоса тихо и тоскливо плавают в духоте нашей тесной ямы. И вдруг сразу несколько голосов подхватят песню, – она вскипает, как волна, становится сильнее, громче и точно раздвигает сырые, тяжелые стены нашей каменной тюрьмы...

Поют все двадцать шесть; громкие, давно спевшиеся голоса наполняют мастерскую; песне тесно в ней; она бьется о камень стен, стонет, плачет и оживляет сердце тихой щекочущей болью, берedit в нем старые раны и будит тоску... Певцы глубоко и тяжело вздыхают; иной неожиданно оборвет песню и долго слушает, как поют товарищи, и снова вливает свой голос в общую волну.

Иной, тоскливо крикнув: «эх!» – поет, закрыв глаза, и, может быть, густая, широкая волна звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль, освещенной ярким солнцем, – широкой дорогой, и он видит себя идущим по ней...

Пламя в печи всё трепещет, всё шаркает по кирпичу лопата пекаря, мурлыкает вода в котле, и отблеск огня на стене всё так же дрожит, безмолвно смеясь... А мы выпеваем чужими словами свое тупое горе, тяжелую тоску живых людей, лишенных солнца, тоску рабов. Так-то жили мы, двадцать шесть, в подвале большого каменного дома, и нам было до того тяжело жить, точно все три этажа этого дома были построены прямо на плечах наших...

Но, кроме песен, у нас было еще нечто хорошее, нечто любимое нами и, может быть, заменявшее нам солнце. Во втором этаже нашего дома помещалась золотошвейня, и в ней, среди многих девушек-мастериц, жила шестнадцатилетняя горничная Таня. Каждое утро к стеклу окошечка, прорезанного в двери из сеней к нам в мастерскую, прислонялось маленькое розовое личико с голубыми веселыми глазами и звонкий ласковый голос кричал нам:

– Арестантики! дайте кренделечков!

Мы все оборачивались на этот ясный звук и радостно, добродушно смотрели на чистое девичье лицо, славно улыбавшееся нам. Нам было приятно видеть приплюснутый к стеклу нос и мелкие белые зубы, блестящие из-под розовых

губ, открытых улыбкой. Мы бросались открыть ей дверь, толкая друг друга, и – вот она – веселая такая, милая – входит к нам, подставляя свои передник, стоит перед нами, склонив немного набок свою головку, стоит и всё улыбается. Длинная и толстая коса каштановых волос, спускаясь через плечо, лежит на груди ее. Мы, грязные, темные, уродливые люди, смотрим на нее снизу вверх, – порог двери выше пола на четыре ступеньки, – мы смотрим на нее, подняв головы кверху, и поздравляем ее с добрым утром, говорим ей какие-то особые слова, – они находятся у нас только для нее. У нас в разговоре с ней и голоса мягче и шутки легче. У нас для нее – всё особое.

Пекарь вынимает из печи лопату кренделей самых поджаристых и румяных и ловко сбрасывает их в передник Тани.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/maksim-gorkiy/dvadcat-shest-i-odna>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)